



Б. М. ЭЙХЕНБАУМ

Письма Тютчева

Письма к близкому человеку — особый вид творчества, определяемый именно их назначением — сказать о себе самую глубокую правду, — и верой в то, что слова будут поняты. Если так у человека обыденного, то у поэта — гораздо сильнее, потому что для него дело самораскрытия есть нечто большее, чем простое психологическое общение.

Письма Тютчева представляют с этой стороны ценность совершенно исключительную. Недаром Тургенев еще в 1854 году писал, что в творчестве Тютчева «замечается та соразмерность таланта с самим собою, та ответственность его с жизнью автора, — словом, хотя часть того, что в полном развитии своей составляет отличительные признаки великих дарований».

До сих пор мы знали письма Тютчева по отрывкам, приведенным И. С. Аксаковым в его «Биографии Ф. И. Тютчева», и по «Русскому Архиву». Тут преобладали письма политического содержания. Теперь в сборниках общества ревнителей русского исторического просвещения — «Старина и новизна» — напечатаны письма Тютчева к его второй жене, написанные по-французски. Пока в двух последних книгах (18 и 19 за 1914 и 1915 гг.) помещены письма от 1840 до 1858 гг., но тоже не в полном виде. Пропущенные места, может быть, содержат факты мелко-биографические, но без этих фраз нельзя представить себе письмо как целое, нельзя вполне почувствовать тон. Приходится говорить об отдельных страницах и строках. Но и они удивительны — даже вне целого.

Эстетика мало пока задумывалась над одним чрезвычайно важным для художественного творчества явлением. Преградой для взора художника, всматривающегося в сущность мира, стоит область пространственно-временных отношений. Он рад принять природу, в которой «есть душа», но она — видимость, по-

тому что за ней — само пространство, сама бездна — «с своими страхами и мглами». Он рад приветствовать человека и создаваемую им историю, но за ними — время как бесформенно уносящийся поток и смерть. Для него есть две природы. Одна, у которой «есть душа», «есть язык» («Не то, что мните вы, природа»), другая — глухонемая, слепорожденная, равнодушная, более того — бездушная сила, стихия. Одна — собственно природа, которая чужда нам только тем, что «знать не знает о былом», что ей «чужды наши призрачные годы». Другая — бездна, т. е. само Пространство как безграничная и бесформенная Пустота. И времени — два. Одно — призрачное, наше, которым создается история, другое — настоящее, стихийное, темное, которого «глухие стенания» раздаются в ночи. И никто, кажется, из поэтов не прислушивался к ним с такой мучительной и сознательной тоской, как Тютчев. Эстетика, думаю я, еще недостаточно это оценила, потому что не опирается на онтологию. Как теория отвлеченного знания, так и теория знания художественного не может развиваться вне онтологии, т. е. теории самого предмета или бытия*.

Если пространство и время, как начала стихийные, так тревожат воображение поэтов, то не преодолевают ли они эти силы в самом своем творчестве, по внутреннему своему заданию сверхвременном и сверхпространственном? Не есть ли ритм, пространственный или временной, т. е. в архитектуре и живописи или в поэзии и в музыке, победа над глухонемой Природой?

Эта, казалось бы, совершенно отвлеченная тема, которая в обыденной жизни, вне философских и эстетических размышлений, не должна бы вовсе ощущаться, удивительно ясно и определенно выражена Тютчевым в письмах. Он переживал эту борьбу в самой жизненной повседневности, и притом совершенно реально, даже до наивности. Его впечатлительность в этой области необычайно остра. Вот осенью 1840 года едет он по железной дороге из Лейпцига в Дрезден. Путешествие для него — «triste plaisir», грустное удовольствие. Потому что в пути человек оказывается вполне во власти пространства. Зато с каким серьезным восторгом говорит он о движении поезда: «Надо признать, что эта паровая машина — великая волшебница» минутами движение так «стремительно, так поглощает пространство, и пространство так побеждено и подавлено (*supprimé*), что

* См. об этом в исследовании С. Франка «Предмет знания» <Пг., 1915. — *Ред.*>.

трудно удержаться от некоторого чувства гордости» *. Езда по железной дороге совсем особенно «действует на нервы» — она погружает в какое-то «чувствительное состояние духа (*une disposition d'esprit tout-à-fait sentimentale*), которое имеет что-то общее со сновидением». Его восхищает, что переносишься из одного города в другой, почти не расставаясь с первым: «*Les villes se donnent la main*» — города протягивают друг другу руки. Дальше он с еще большим пафосом восклицает: «*Ah, ne blaspémons pas le chemin de fer*» — «Не надо оскорблять железную дорогу. Это — удивительное изобретение, особенно теперь, когда сеть развивается и пополняется со всех сторон. Для меня же особенно благодетельно в этом то, что она укрепляет мое воображение в борьбе против самого ужасного моего врага — пространства, этого ненавистного пространства, которое поглощает и уничтожает вас, с телом и душой на обыкновенных дорогах». После горных пейзажей его тяготит русская равнинность: «Да, увы — грустная это вещь страна, в которой только облака имеют вид гор... Что за грустная страна, по которой я пронесся (*dévoré*), и как это мог великий поэт, создавший Риги и Женевское озеро, подписать свое имя под такими плоскостями!»¹

Эта ненависть к пространству, это недоверие к существованию того, что скрылось от глаз, придает совершенно особенный и почти болезненный оттенок некоторым настроениям Тютчева. Разлука равносильна для него небытию того, с кем он расстался — особенно, когда это любимый и близкий человек. С поразительной ясностью это выражено в письме от 26 июля 1856 года из СПб.: «Никогда не бывает у меня, когда я пишу письмо, такого чувства, что на земле, на некотором расстоянии, есть некто, кто ждет моего письма и прочтет его с удовольствием. Я скорее кажусь себе сумасшедшим, который разговаривает сам с собой. Никто, я думаю, и никогда не чувствовал себя более ничтожным, чем я, перед лицом этих двух угнетателей и тиранов человечества: времени и пространства»... Вот почему он так тяжело переносит разлуку и так неохотно предается повествовательному тону в своих письмах. «Я, — пишет он в 1843 году, — действительно, человек совсем неприспособленный к тому, чтобы переносить разлуку, потому что это для меня все равно, что небытие, само себя сознающее». И в следующем письме опять: «Разлука для того, кто умеет ее чувствовать,

* В «Старине и новизне» вслед за французским текстом писем напечатаны их переводы, я не считаю их удачными и потому им не сле-
дую.

представляет необъяснимую загадку»... Ему так трудно бывает поверить, что «этот листок бумаги, который у меня под рукой, может когда-нибудь дойти до тебя». То он называет разлуку — «*cet abominable cauchemar de l'absence*», то объясняет в письме 1851 года: «Настоящая причина, думается мне, того, что разлука тяжелее для меня, чем для всякого иного человеческого существа, — в том, что для меня разлука все равно, что небытие». Письма причиняют ему «невероятное утомление», кажутся ему ненужными, неясными для других. В разлуке с любимыми он точно теряет свою личность — мучительное чувство, отравляющее существование: «Я чувствую, — пишет Тютчев в 1851 году, — что мои письма самые бессмысленно-грустные на свете. Они ни о чем не рассказывают и несколько похожи на окна, покрытые слоем мела, через которые ничего не видно, — они свидетельствуют только об отъезде и отсутствии. Вот какое несчастье — быть до такой степени лишенным личности... Это-то и мешает мне серьезно отнестись к самому себе и хоть до некоторой степени заинтересоваться деталями своего существования. Единственное более энергичное чувство, которое я испытываю, это — невозможность уйти от самого себя». И непосредственно за этими строками следует пятистишие:

В разлуке есть высокое значение,
 Как ни люби, хоть день один, хоть век...
 Любовь есть сон, а сон — одно мгновенье,
 И рано ль, поздно ль пробужденье,
 А должен, наконец, проснуться человек.

Преобразование реальности в сон и небытие делается в воображении Тютчева с такой легкостью, что он одинаково не верит в существование того, что осталось на расстоянии или отошло в прошлое и сохраняется только в воспоминании. Так объединяются между собой время и пространство в том, как он встречается с известными ему прежде людьми и предметами. С каким трудом и страхом отрывается он от своих близких, как ужасает его, когда человек исчезает вдали: «Когда я потерял тебя из виду, — пишет он в 1846 году, — и почувствовал, что гнусная коробка (*l'exécrable boîte*) сжимает меня и тащит вдаль, меня серьезно потянуло выскочить наружу... Приступ был очень силен, я знаю теперь, как бросаются люди в воду». В том же письме он рассказывает, как поразила его Москва: «Я всегда удивляюсь реальности предметов, когда снова их вижу. Впечатление, которое от них сохраняется, всегда так бледно, так тускло. Воспоминание ведь только призрак» (*fantôme*).

Только в природе умеет он ловить иногда настоящее само по себе, вне повторений, потому что природа ведь «знать не знает о былом». В разгар войны, которая заполонила все воображение Тютчева, он пишет вдруг о «невероятном очаровании баснословной погоды (*fabuleuse saison*), которую дарует нам небо в течение трех месяцев. Что за дни! Что за ночи! Просто сон какой-то. Его чувствуешь, дышишь им и проникаешься, и едва ли в силах поверить этому. Что особенно кажется мне дивным — это постоянство, невозмутимое постоянство этих прекрасных дней, которое внушает что-то вроде уверенности, называемой удачей в игре (*veine au jeu*)... Очарование погоды так велико, что оно как будто отвлекло всех от политических забот». И вслед за этим — стихотворение:

Какое лето, что за лето!
 Да это просто колдовство;
 И как, спрошу, далось нам это
 Так ни с того и ни с сего?..

Не то — в человеческой жизни. Здесь нет ни постоянства, ни уверенности. Настоящего нет — есть былое и воспоминание о нем. Более того — Тютчев знает совершенно особенное состояние, когда настоящее воспринимается им непосредственно как прошлое. Это — истинно пророческое состояние: не просто предвидеть будущее, но совсем на мгновение выйти из пределов времени и потому видеть его как бы со стороны. Так должны бы чувствовать современность истинные, призванные историки. 8 сентября 1855 года Тютчев стоит в Кремле и с первой площадки Ивана Великого смотрит на толпу, которая ждет выхода государя из собора: «Внезапно меня опять охватило это чувство сновидения (*ce sentiment de rêve*), мне стало казаться, что теперешняя минута давно прошла, что на нее обрушилось уже с полвека или более, что великая борьба, которая теперь начинается, пройдя сквозь целый цикл бесчисленных перемен, захватив и уничтожив целые государства и поколения, наконец, прекратилась — и из нее мир вышел новым, судьбы народов определились на столетия вперед, всякая неуверенность рассеялась, суд Божий совершился. Основалась великая Империя... И вся эта сцена предстала мне как видение из прошлого, далекого прошлого, и люди, двигавшиеся кругом меня, казались давно исчезнувшими с лица земли... Я вдруг почувствовал себя современником их правнуков»². Недаром жена Тютчева находила, что в нем есть «что-то от Пророка» (*du Prophète*).

Зато — с каким испугом видит он, как разрушается и исчезает одно за другим, не оставляя даже веры в будущее! Тогда настоящее уже не кажется ему прошлым, но просто — повторением, в сущности своей неподвижным. «Удивительно, как все повторяется в жизни, как всему, кажется, суждено вечно длиться и повторяться до бесконечности, пока вдруг настает такой момент, когда все разрушается, все исчезает и то нечто, в чем столько было реальности, что вы чувствовали таким же прочным и громадным, как земля под ногами — становится сном, существующим только в воспоминании, да и там с трудом улавливаемым. И когда на протяжении жизни это явление повторится несколько раз, когда несколько действительностей (*réalités*), которые считались вечными, скрылись от вас и оставили ни с чем, — тогда, хотя по закону человеческой природы иллюзия длительности стремится постоянно возрождаться, все-таки под этой иллюзией скрывается что-то встревоженное, беспокойное, недоверчивое — что-то такое, чего уже не удастся усыпить совершенно. Спишь на один глаз и то против воли; живешь день за днем».

В 1843 году, приехавши в Москву, он встречается с людьми, которых знал когда-то юношами: «Я никогда не представлял себе, чтобы двадцать лет могли произвести такие разрушения в бедной человеческой машине. Какое страшное колдовство... Еще вчера у меня перед глазами был такой пример. Это учитель русского языка *, который был во цвете лет, когда мы расстались двадцать лет назад, и которого я теперь встретил маленьким, сморщенным старичком (*une petite figure vieillette*), почти беззубым и, так сказать, передразнивающим (*gricnaçant*) свое прежнее лицо. Я до сих пор еще не оправился от потрясения».

Мысль о смерти неотвязно тревожит Тютчева — его письма переполнены рассказами о последних минутах, о похоронах... Он, которому так скучен и ненавистен повествовательный тон, с большими подробностями и с большим подъемом описывает свои впечатления этого рода. Вот — смерть Карамзиной, супруги историка. Длинный рассказ о том, как накануне смерти она говорила с сыном о различных переменах в доме на будущий год, а на другой день, вечером, т. е. за несколько часов до кончины, играла в карты и даже могла окончить партию. Потом — ее похороны: «Погода была великолепная, и бедная покойница,

* Вероятно, С. Е. Раич, преподаватель Московского Университетского пансиона и воспитатель Ф. И. Тютчева.

которая всегда была чувствительна к прелести хорошего дня, должна была быть им довольна... Кругом было столько жизни, что мысль о смерти почти исчезла, и все-таки, когда чувство действительности брало верх — бедная Лиза опять разражалась слезами и рыданиями!» Вот — похороны Жуковского, кн. Волконского. Вот — смерть герцога Лейхтенбергского (1852 г.): «Бедная женщина! (воскликает он о супруге покойного — великой княгине Марии Николаевне). Как сложна ее скорбь! Несколько дней назад, говоря о своем муже, она сказала, что любит его, как в первые дни брака...» «The mightiest Beautifier is Death, — цитирует Тютчев, — лучше всего украшает Смерть».

Вот еще — смерть Андрея Карамзина (сына), погибшего в сражении 16 мая 1854 года: «Можно себе представить, что должен был испытать этот несчастный Андрей Карамзин, когда, увидев, что погубил своею неосторожностью дело отряда, он передал командование им помощнику, а сам решил пожертвовать жизнью. И вот, в этот решительный миг, в этом чужом краю, среди этой гнусной толпы, которая надвигалась, чтобы изрубить его в куски, в его памяти, вероятно, молниейной вспышкой осветилось все его существование, которое он терял: жена, сестры, вся эта жизнь его — такая сладкая, обильная, полная ласки. Да, ужасные вещи делаются на этом свете. Но сделаем, как жизнь, — пройдем мимо». Через две недели Тютчев посетил в Петергофе вдову Андрея Николаевича Карамзина — Аврору Карловну. «Сейчас же она стала говорить мне о Нем и вызывать меня на то же — и все это перед Его большим портретом во весь рост, стоявшим в двух шагах от нас и смотревшим на нас своими грустными и добрыми глазами, как живой. Увидя черты его лица, я невольно подумал о том, какому ужасному искажению суждено было им подвергнуться, и как мало они предчувствовали это. И не таково ли, с некоторыми изменениями, будущее всех нас... И как, в виду этого неизбежного будущего, смотреть без содрогания на члены собственного тела, которое так мало нам принадлежит». И тут же необыкновенно характерный для Тютчева переход: «И вот над всеми этими горестями и бедствиями частными и общественными уже несколько дней сияет великолепное небо, дни — сверкающие (splendides) и ночи теплые». И опять рассказы о смерти — кн. Сергея Мещерского, по поводу которой вырываются слова: «Нет, хрупкость человеческой жизни на земле — единственная вещь, которую никогда не в силах будут преувеличить никакие фразы и никакие напыщенные рассуждения».

Не странно после всего этого читать такое размышление Тютчева: «Я не знаю, какую пользу, с точки зрения христианской, может извлечь для себя человек, одержимый постоянной мыслью о смерти, но я знаю только, что когда, вне целей внутреннего совершенствования (*édification*), ежеминутно испытываешь с такой болезненной живостью и настойчивостью чувство непрочности и хрупкости всего в жизни, то существование становится нелепым кошмаром, и безумие того человека, который дрожал за свой хрустальный нос, дает лишь слабое представление о подобном настроении ума».

Как же мог такой человек, «одержимый постоянной мыслью о смерти», иметь что-либо общее с политическим интересом дня, с вопросами государственного и общественного строительства? Это до сих пор остается загадкой, и я не могу здесь подробно останавливаться на ее разрешении. Мне хочется только настоять сейчас на том, что между политикой Тютчева и его мироощущением противоречия нет и не может быть. Для Тютчева земное строительство было высоким религиозным подвигом — потому государственность, внутренне не связанная с церковью, не находила в его глазах оправдания. Трагедия запада определялась, с его точки зрения, именно отсутствием такой связи — потому запад отождествлялся с революцией, а революция (и это очень важно) понималась им философски, как метафизическое утверждение человеческого «я» над всем миром. Об этом с достаточной ясностью сказано еще в статье его «Папство и римский вопрос».

Надо — уметь понимать, о какой революции здесь идет речь, а для этого достаточно сопоставить с мыслями указанной статьи письмо Тютчева от 20 июня 1855 года, где он пишет жене: «Так вот какие люди управляют судьбами России во время одного из самых страшных переворотов, когда-либо потрясавших мир. Нет, положительно, если только Провидение не насмеяется над людьми, то эта невероятная и шутовская нелепица должна скоро кончиться, — это несоответствие между людьми и делом, заставляющее не то смеяться, не то скрежетать зубами, несоответствие между тем, что есть, и что должно бы быть, — нельзя, одним словом, не предвидеть переворота, который сметет всю эту гниль и подлость». Революция как система, революция-религия, в поклонении которой обвинял Тютчев всю западную культуру, должна была казаться ему дикой с высоты его «пророческого» чувства истории. А пророчество было, действительно, ему присуще — он недаром боролся с пространством и временем. Он один из первых предсказал близость вой-

ны 1854 года и понял серьезность кризиса: «Остатка этого века, — пишет он 1 ноября 1853 года, — едва хватит для его умиротворения». И позже — 1 апреля 1854 года: «Да, это мое самое глубокое убеждение, что вся половина текущего века пройдет если и не в непрерывных войнах, что было бы материально невозможным, то во всяком случае мир в ней будет восстановлен лишь после того, как вся Европа будет вполне преобразована».

Мы должны признать, что Тютчев провидел наши дни, и потому еще более обязаны вдуматься в ту истину, какой он владел, чтобы глубже понять не только его, но и нашу судьбу. Если в славянофильстве была и есть какая-то философская Правда, то в Тютчеве она — самая глубокая, самая полная и вещая. Она-то, эта правда-истина, давала ему право и силу восклицать:

Я не свое тебе открою,
А бред пророческий духов.

1916

